Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту.

Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос: как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко; скоро перешли на личности. Один, носатый, с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобастого, терпеливого:

— А ты думай! Думай! Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест! Думай!.. У тя ж голова на плечах, а не холодильник.

Лобастый медленно смеется.

Этот лобастый — он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию. Сидим, например, в курилке, курим. Молчим. Глухая ночь… Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина — Жизнь. Но только — кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот — ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит… Спокойно, верно, обдуманно:

— А денечки идут.

Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:

— Да. Не идут, а бегут, мать их!..

Но не я первый додумался, что они так вот — неповторимо, безоглядно, спокойно — идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами — верно и вовремя сказанными — поймать за руку Время. Вот же черт!

Лобастый медленно (он как-то умеет — медленно, то есть не кому-нибудь, себе) смеется.

— Эх, да не зря бы они бежали! А?

— Да.

Только и всего.

Лобастый отломал две войны — финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него в такой… компактный, так, что ли, рассказ:

— Морозы стояли!.. Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться, каждому пять минут. Я пришел, пристроился сбочку, задремал. А у меня шинелька — только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от это вот место все выгорело. Она же — сукно — тлеет, я не учуял. Новенькая шинель.

— Убивали же там!

— Убивали. На то война. Тебе уколы делают?

— Делают.

— Какие-то слабенькие теперь уколы. Бывало, укол сделают, — так три дня до тебя не дотронься: все болит. А счас сделают — в башке не гудит, и по телу ничего не слышно.

…И вот Носатый прет на Лобастого:

— Да их же нельзя вместе-то! Их же… Во дает! Во тункель-то!

— Не ори, — советует Лобастый. — Криком ничего не возьмешь.

Носатый — это не загадка, но тоже… ничего себе человечек. Все знает. Решительно все. Везде и всем дает пояснения; и когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по-особенному отчетливо знаю, что волк это сделает — съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест. И косточками похрустит.

— Трихопол?! — кричит Носатый в столовой. — Это — для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! — и таков дар у этого человека — я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном его желудке.

Третья бледно-зеленая пижама — это Курносый. Тот все вспоминает сражения и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непосредственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на «Спокойной ночи, малыши». Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорить, что колено брить — зачем?..

Вот эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу получилось много.

Да, еще про Носатого… Его фамилия — Суворов. Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и прикнопил к своей клеточке в умывальнике. Мне это показалось неуместным, и я подписал с краешку карандашом: «Не Александр Васильевич». Возможно, я сострил не бог весть как, но неожиданно здорово разозлил Суворова. Он шумел в умывальнике:

— Кто это такой умный нашелся?!

— А зачем вообще надо объявлять, что эта клеточка — Суворова? Ни у кого же нет. Вы что, полагаете… — пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом.

— Тогда чего же мы жалуемся, что у нас в почтовом ящике газеты поджигают?! Сегодня — карандаш, завтра — нож в руки!..

— Ну, знаете, кто взял в руки карандаш, тот…

— Пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему, я догадываюсь, кто это тут такой грамотный… Очкарик побледнел.

— Кто?

— Сказать? Может, носом ткнуть?

Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько я, выступил блестящим недомерком.

— А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать.

— За такие шутки надо… не шум поднимать! Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует.

Дурак он. Дурак и злой.

-…Как же ты туда повезешь волка, когда там коза?! — кричит Суворов. — Он же ее съест!

— Связать, — предлагает Курносый.

— Кого связать?

— Волка.

— Нельзя, тункель!

— А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты…

— Как же тут не кричать, скажи на милость?! Если вы не понимаете элементарных вещей…

Лобастый упорно думает.

— Как все покричать любят! — изумляется Курносый. — Знаешь объясни. Чего кричать-то?

— Полные тункели! — удивляется в свою очередь Суворов. — Какой же тогда смысл в этой задаче? Ну — объяснил я, и все? А самим-то можно подумать?

— Вот мы и думаем. И предлагаем разные варианты. А ты наберись терпения.

— Привыкли люди, чтоб за них думали! Сами — в сторонку, а за них думай!

— Волк капусту не ест, — размышляет вслух Лобастый. — Значит его можно здесь оставить…

— Ну! ну! ну! — подталкивает Суворов.

— Не понужай, не запрег.

— Давай дальше! Волк капусту не ест… Правильно начал!

Серые, глубокие глаза Лобастого тихо сияют.

— Начать — это начать, — бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать. — Говорят: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Значит, козу отвезли. Так?

— Ну!

— Плывем назад, берем капусту…

— Ее же там коза сожрет! — волнуется Курносый.

— Сожрет? — спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония. — Тада мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая.

— А тут волк!

— А мы волка — туда. Пусть он у нас капустки опробует…

Суворов радостно хлопает Лобастого но спине; и так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки, и пушка на это никак не вздрогнула.

— А-а! — догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется. — А потом уж мы туда — козу, в последнюю очередь!

— Дошло! — орет Суворов. Он просто не может не орать. Все мы тут крепко устали, нервные, — это тебе не высоту брать.

— Сравнил телятину с… — обиделся Курносый.

Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную «памирину», смотрит на нее… И я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это — не им одним нажито, такими были его отец, дед… Это — вековое.

Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я — за ним. Посидеть с ним, помолчать.